

Ю. Л. Качанов

«Одна из тех погасших звезд, которые по-прежнему освещают мой путь»

Юрий Львович Качанов — доктор философских наук; Главный научный сотрудник Института статистических исследований и экономики знаний Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики». **Адрес:** Москва, ул. Мясницкая, д. 11, каб. 445. **Телефон:** +7 (495) 772-9590. **Электронная почта:** ykatchanov@hse.ru.

Аннотация: Воспоминания о Геннадии Семеновиче Батыгине, его роли в развитии российской социологии с точки зрения одного из ведущих российских социологов Юрия Львовича Качанова. Описание построено на личных представлениях, суждениях и переживаниях автора. Интервью по переписке проведено Д. М. Рогозиным.

Ключевые слова: Батыгин Геннадий Семенович, история социологии, методология социальных исследований; научная этика; социология науки

Для цитирования: Качанов, Ю. Л. «Одна из тех погасших звезд, которые по-прежнему освещают мой путь» / Интервью провел Д. М. Рогозин // Пути России. 2023. Том. 1. № 1. С. 45–63.

УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ ЛЬВОВИЧ! Пишу наудачу, поскольку так давно не пересекались, что у меня не осталось никакого актуального адреса. Вижу Ваш контакт в Вышке, но даже не знаю, работаете Вы там или нет. А вопрос у меня небольшой и конкретный. Собираю воспоминания о Батыгине, 20 лет прошло с года его смерти. Может быть, у Вас найдется время, совсем немного, в переписке ответить мне на несколько вопросов? О Ваших отношениях, может быть, коротких встречах с Батыгиным, давних впечатлениях. Понимаю, что все это в прошлом. Но вдруг, все же наука живет таким прошлым.

Разумеется, отвечу на любые вопросы. Я постоянно вспоминаю Геннадия Семеновича — это одна из тех погасших звезд, которые по-прежнему освещают мой путь. Мы все отчасти живем прошлым, на что указывал ещё классик. «Всё мгновенно, всё пройдет, / Что пройдет, то будет мило».

Юрий Львович, спасибо. Действительно, настоящее уныло. Я бы с этого начал, но Вы даже в этом четверостишье нашли улыбку, пусть и грустную. И мой первый вопрос традиционный: когда Вы познакомились с Батыгиным, при каких обстоятельствах? Какое первое впечатление он на Вас произвел?

Я впервые увидел Геннадия Семеновича на методологическом семинаре молодых ученых в Институте социологических исследований АН СССР в 1982 году. Он вел семинар и давал развернутые комментарии по ходу дискуссии. Если выражаться современным языком, Батыгин производил впечатление ЛОМа, инфлюенсера, интеллектуального трендсеттера. Он не был похож на тех больших ученых, которых мне до того довелось наблюдать в университете — сосредоточенных, высоко ценящих свое время, погруженных в решение своих задач. Геннадий Семенович как бы дарил свое время и энергию аудитории, его выступления были богаты коллатеральными, часто причудливо сплетенными. Он фонтанировал эрудицией. Отчетливо помню, что достаточно произвольно всплыл «хронотоп» (в духе А.Я. Гуревича), ссылка на неизвестные мне этологические эксперименты с крысами, «диалогика» В.С. Библера. Однако я отнюдь не хочу сказать, что комментарии и реплики Батыгина производили впечатление потока сознания. Хотя развитие его комментариев было скорее избыточным, чем необходимым, но начинались они всегда как полезные и точные: мимоходом, но очень емко Геннадий Семенович коснулся различия понятие/переменная, указал на переводы Пфанцагля, Суппеса и Зиннеса [Пфанцагль, 1976; Суппес, Зинес, 1967]. Что же касается экзиса, то, соотносясь с сегодняшней поп-культурой, Батыгина можно было бы сравнить с Джудом Лоу в образе Дамблдора: консервативный и вместе с тем раскованный,

обаятельный и одновременно резкий, располагающий, но неоднозначный, «себе на уме».

Честно говоря, такой образ исследователя сразу наталкивает на мысль о тотальном одиночестве. Пусть в избытке удивление и уважение со стороны, но разве возможны, при том близость, схожесть интересов? Сформировался ли тогда круг единомышленников, соратников Батыгина, коллег, работающих в одном направлении? Или это был, на Ваш взгляд, герой-одиночка, неудержимый в своей страсти познания?

Надеюсь, Вы не ждёте от меня ответа в жанре агиографии, и высказываюсь я не от лица социальной науки, опираясь на исследования, но как частное лицо, делящееся наблюдениями, произведенными в определенной перспективе. Так вот, ИМНО Батыгин не был тем, кого нынешняя наукометрия идентифицирует как *scientific researcher*. Он вовсе не был стигматизирован тем, что Вы изящно назвали «страстью к познанию». Геннадий Семенович был обуреваем страстями, как и многие из нас, но Истина не была его пассивей, он не был *researcher*'ом *in stricto sensu*. Он был *scientist* (в постсоветское время — *academician*): у него был неподдельный, я бы сказал, сублимированный интерес к науке как социальному институту, ее структуре, ее развитию, к ученым и их социальным и научным траекториям. Разумеется, Геннадий Семенович был ангажирован научной коммуникацией и ее инструментарием: библиография, справочный аппарат etc. были постоянным предметом разговоров в его кругу. По крайней мере тех, что я слышал.

Был ли Геннадий Семёнович героем-одиночкой? Ни в коем случае. Ни героем, ни одиночкой. Герой в науке объективирует собой абсолютное творчество, т. е. такое творчество, которое нельзя объяснить из условий и предпосылок. Он выходит за пределы социальных и интеллектуальных ограничений, но при этом не нормализует дисциплину, в которой работает. Герой классической эпохи либо следует предназначениям свыше, либо реализует некое естественное право. Ему дано многое, кроме одного: у него нет свободы выбора. Герой — аристократ, посредник между людьми и богами, его история зачастую не поддается однозначной интерпретации. К Геннадию Семёновичу всё сказанное выше не относится. Он не шёл против условий и обстоятельств — он их умело использовал. Образно говоря, Батыгин разумно смотрел на мир, и мир смотрел на него разумно. По крайней мере, только это читается в источниках.

В свое время М. М. Соколов высказался в том смысле, что социолог должен быть модным. Интенции Геннадия Семёновича, конечно, от меня были сокрыты, но толкуя его научную историю как последовательность сменяющих друг друга текстов, можно выдвинуть

гипотезу, что стремление держаться на гребне социологической «волны», находиться в фокусе внимания было ему не чуждо. И это совершенно нормально. Если социолог не является отцом-основателем какой-нибудь новой отрасли социального знания или не связан с неким дефицитным интеллектуальным ресурсом (например, читает/переводит с редкого и сложного языка), то с неизбежностью его интересы будут эволюционировать, причем довольно быстро, и эволюционировать в том направлении, которое сулит общественное признание и научный авторитет. Насколько я могу судить, тематика работ Геннадия Семёновича была подвержена осцилляции: начиная *de facto* с логического позитивизма (в работах о «гносеологической структуре показателя» etc.), он, испытав эмпирическое давление быстроменяющейся исторической действительности, на сломе эпох, обратился к публицистике и к тому, что позже назовут «качественной социологией»; затем, по мере стабилизации интеллектуальной среды, занялся историей социологии, и вновь — методологией (уже не в позитивистском ключе) вкупе с социологией науки. Я набросал приведенную выше интеллектуальную траекторию по памяти, сугубо приблизительно, не претендуя на достоверное знание, и заранее прошу прощения у тех, кто хранит наследие Геннадия Семёновича.

Наконец, уж кем Геннадий Семёнович точно не был, так это одиночкой. Он всегда был в окружении сотрудников, товарищей по работе, аспирантов. Отмечу особо, Батыгин умел и, как это мне виделось, любил помогать. И люди к нему тянулись в редакцию «СОЦИС», а позже, «Социологического журнала». Геннадий Семёнович советовал, редактировал, объяснял, помогал с публикациями. Причем делал это терпеливо: если начинающий социолог приносил ему непубликабельный текст, он не «ставил крест» на человеке, но продолжал с ним взаимодействовать. Социология для него не была погружена в совокупность отношений: казалось, сами отношения между социологами и были научной дисциплиной.

Разумеется, делая акцент на «союзы», Батыгин вступал и в конфликты. Заняв достаточно высокую позицию в отечественной социологии, он сам конструировал конфликты с коллегами, переходя от одной «войны роз» к другой. Когда сейчас пишут о его эмпатии, исключительной доброжелательности и т. п., то надо уточнять перспективу, из которой производятся такого рода утверждения. «Чем ярче свет — тем гуще тени». Некоторым пришлось познать на себе его искусство и символической, и административной, и закулисной борьбы. Сужу-с не по рассказам. Подобно сэру Дэниэлу Брэкли, не все любили Геннадия Семёновича как равного по рангу или редактора, «но те, кто сражался под его знаменами, очень любили его как военачальника». Именно так: почти все начинающие социологи и единомыслители восторженно о нем отзывались, но стоило ему распознать в коллеге, то, что он сам называл «статусной угрозой»... Кажется, с этой

диспозицией была связана одна из метафор Батыгина: он часто сравнивал, следуя Н. Элиасу, социологию с осажденной крепостью, которая должна держать ворота закрытыми.

Хорошо помню эту метафору осажденной крепости. Она сопровождалась рассказом о Карле Поппере и Имре Лакатосе, переосмыслением теории фальсификационизма, развенчивании, как оказалось, иллюзии, что ядро теоретического знания может быть опровергнуто. Оно как крепость закрыто для любых фальсификаций и опровержений, недоступно для противников и может быть преодолено лишь сторонниками теоретической концепции. Я встретился с Батыгиным поздно, в самом конце девяностых, когда центральным его интересом и тезисом была возможность познания без познающего субъекта. Конечно, подобное легко относится к одному из изводов позитивизма, но за этими размышлениями стояли более утонченные, на мой взгляд, теоретические построения. Круг чтения не ограничивался попперианцами, в него входил и поздний Гофман, и Щютц, и вся большая феноменологическая традиция. Метафоры крепости, организованных порядков, эшелонированной обороны и прочее — были тогда одними из ключевых, как бы подпитывая и поддерживая теоретический язык описания военизированной лексики. И если речь шла, действительно, не только о метафорических концептах, жизнь протекала в научных и околонаучных баталиях, какую позицию в них занимали Вы? Какая дистанция была между Вами и Батыгиным? Были ли хоть какие-то пересечения, подталкивающие к конфронтации или союзу?

Боюсь огорчить Вас формальным ответом, но теоретических несогласий, могущих послужить толчком к агону, у нас с Геннадием Семёновичем не замечалось. Мы двигались в непересекающихся плоскостях. Были одни лишь социальные основания для конфликта, да и то скорее надуманные. Лично я полагал, что в поле науки много места, всем хватит. Батыгин же, скорее всего, хотел контролировать воспроизводство профессионального корпуса, так сказать, отсекал неплодные, по его мнению, ветви. Да, я наблюдал издали за активностью Батыгина «вокруг» Шюца. Однако, с общепринятой точки зрения, Геннадий Семёнович не был ни теоретиком, ни историком, ни переводчиком. Складывалось впечатление, что феноменология нечувствительно отразила его приступ. Переход от Поппера к Шюцу казался не осцилляцией, а прорывом. Может быть, остались какие-то ценные фрагменты или рукописи, но мне они не известны. В свою очередь, Гофман в отечественной социологии у меня ассоциируется совсем с другими авторами. Что же касается феноменологии в целом, то в то время философы активно выдавали на-гора профессиональные переводы, статьи по поводу и даже самостоятельные изыскания.

Достаточно полистать «Логос». Я отслеживал публикации [переводов] Гуссерля и о Гуссерле, однако Батыгина там не было.

Я могу ошибаться, но если кто-то станет читать это интервью, то лишь для того, чтобы раскрыть для себя что-то вроде становления настоящего в прошлом. Что обращает на себя внимание в прошлом, в истории Геннадия Семёновича? На мой взгляд, его диссонанс со временем: «Я долго время проводил без пользы, зато и время провело меня». Если говорить метафорически, то в каждый момент исторического времени исследователям и ученым дан небольшой интервал, отделяющий тривиальное от невозможного. Только в этом интервале создаются резонансные работы, издаются книги, которые «меняют мир». Если бы Геннадий Семёнович занялся Гофманом и Шюцем, условно говоря, в 1982 году, то в девяностые, рассуждая гипотетически, он мог бы возглавить направление, претендовать на то научное признание, которое позже получили «молодые волки с длинными зубами». Но этого не случилось. Почему не «взлетела» его статья о Лазарсфельде [Батыгин, 1990]? Наверное, потому что тема автономии социологии, бегства от политики в «точную социологию» была насущна в годы Брежнева/Андропова, а в Перестройку ушла из повестки. Напротив того, большинство социологов были настроены на интервенцию в политику.

Вы вопрошаете о конце девяностых. В 1997 году я беседовал с Деррида, слушал Бадью. После этого все методологические семинары казались «не о том». Разумеется, я штудировал весь тогдашний дженгельменский набор книг. Нерв философии был тогда в Париже. Разумеется, философия свершается в форме истории философии. Но в любом случае она требует вкуса. А Вы говорите о Поппере! Одно дело соотносить себя с Платоном или Кантом, ну, Хайдеггером, совсем другое — с Лакатосом. В этом нет радикального шика. Кстати, я до сих пор гадаю, почему Геннадий Семёнович не воспользовался уникальным шансом — базой данных Web of Science, которая была у него на дисках? Он мог бы стать номером 1 в нашей «науке о науке», вместо того чтобы вязнуть в поисках познания без субъекта. Но он продолжал работать в «старых ритмах», как будто на дворе незабываемые 1970-е.

Время передвигает нас от состояния к состоянию. Оно течет монотонно, прозрачно, необратимо. Время меняет нашу позицию в разных структурах, все перепутывает, смешивает истину и ложь, быль и фантазии. Время собирает нашу социальную траекторию, фиксирует ее фактическое значение. Я оглядываюсь на политические и интеллектуальные события, каким-либо образом задевшие меня или пролетевшие рядом, и понимаю, что довелось — и еще доведется — пережить перемены, какие нечасто бывают в истории. Почему столь важны девяностые годы? В жизни каждого из нас есть как бы два времени. С одной стороны, бывают времена эволюции. Хронос с песочными часами — символ такого времени. С другой стороны, бывают и революции,

вызревающие внутри инерционного движения. Каждая революция задает направление нашей будущей жизни. Символ определяющего мгновения — Кайрос. Он открывает окно возможностей, которое, если им не воспользоваться, закрывается.

Кайрос — это время, указывающее на некие события, делающее наши действия возможными или невозможными. Кайрос — бурная стремнина, и в ней устоит лишь тот, кто, пользуясь быстролетящим мгновением, схватит Кайрос за волосы. Что-то в этом духе рисовал тургеневский Гагин, да и вся «Ася» — она об этом. Кайрос знаменует перелом эпох в нашей стране, Перестройку и девяностые годы.

Я говорю все это к тому, что Перестройка полностью изменила социальные и интеллектуальные условия существования социологии и философии в нашей стране. Все вдруг стало непрочно, текуче, неясно. Казалось, что открываются какие-то бесконечные дали, маячат какие-то невероятные свершения. По стране бродили смысловые галлюцинации. Это здорово затрудняло ориентацию. Но перед каждым, кто претендовал тогда на теорию, стоял, в сущности, простой выбор: идти радикально вперед или радикально назад. Середина выглядела провалом. Я предпринимал хаотические попытки двигаться. Батыгина сносило течением, вместе с якорем. Казалось, он хотел опереться на уже накопленные знания и навыки, воспроизвести свою позицию в новых условиях. Я же был настроен порвать с прошлым. Так это видится из сегодняшнего дня. Скажу заранее: Геннадий Семёнович в любом случае добился гораздо большего, чем я. Речь не идет о том, что я был эдаким молодцом-новатором и мое поведение было более релевантным. Я просто пытаюсь структурно ответить на Ваш вопрос, исходя из своей перспективы.

Когда Вы пишете о своих «попытках разрыва с прошлым», речь идет о второй половине 1980-х, о Вашем сотрудничестве с ЦИРКОНОм, затем ИНДЕМОм, то есть переходе к обслуживанию прикладных задач, работы с предельно эмпирическим и политическим материалом? В целом, Ваш триумвират (Качанов-Филиппов-Задорин) первой половины 1990-х, всегда вызывал у меня изумление своей непостижимостью и невозможностью, настолько Вы разные. Возможно, на восприятие накладывается ваш громкий разрыв, не знаю. И Ваши «хаотические попытки» проходили в другой реальности, в которой просто не было Батыгина и его размышлений о методе? Для Вас было неуместным консервативное, в исходе позитивистское знание о методологии, прочно укоренившееся затем в университетских курсах? Я знаю историю Института социологии лишь в перспективе рассказов Ядова и Батыгина. А Ваш мир исследований и размышлений об исследованиях хоть как-то пересекался с их миром, тогда в конце 1980-х — начале 1990-х?

Непосредственно-рефлекторно среагировав на приведенные в Вашем предыдущем вопросе имена философов, я указал лишь на поверхность тогдашней социологической жизни, совершенно упустив план сущности. Годы утекли, но для меня тогдашние размежевания живы, что, надеюсь, частично извиняет мою чрезмерно эмоциональную реакцию, «нарциссизм мелких различий». Действительно, при всей внешней несхожести, у меня было общее основание с методологическими усилиями Геннадия Семёновича, и основание это было массивным и прочным. По крайней мере, это читается из его критики «качественной социологии». Речь идет о сугубо научном — не являющимся разновидностью искусства — характере социологического познания. «Научность» здесь можно толковать в духе гегелевской интерпретации Аристотеля: универсальность, необходимость, диалектика. Добавьте к этому прогнозируемость. Если убрать диалектику и, быть может, возможность прогноза, это вполне согласуется с классификацией социологии как «естественно-научной науки о культуре», приведённой в «Границах естественно-научного образования понятий». Грубо говоря, в том, что касается «последних вопросов» познания, я был скорее заодно с Батыгиным.

Пламенеющий постмодернизм поляризовал философов и социологов в России: одни восприняли его индугенцию на перенос в поле науки логики художественного поля, другие — как крах научного разума. Были люди, которые, легитимируя себя — зачастую выдуманными — Латуром-Лиотаром-Делёзом-Бодрийаром-Деррида (добавьте недостающее), учредили интеллектуальный кооператив «Симулякр» и воздвигли на море-окияне две мельницы, одна из которых молола вздор, а другая — чепуху. Самое забавное, что упомянутый Вами В. А. Ядов, который в «начале славных дел» рекомендовал себя защитником научности и покровителем всяческой методической проработки исследований, именно он быстро сдал позиции и санкционировал отход от научной дисциплинарности, от принудительных истин. Я имею в виду его разрекламированный во время оно «мультипарадигмальный подход», который был с энтузиазмом воспринят заинтересованными лицами: «Мели, Емеля, твоя неделя!»

Я нарушу гуманитарную *Innenpolitik*, признавшись, что относился к условному постмодернизму сознательно-инструментально: «И всякий, выбрав что-нибудь из смеси, / Уйдет домой, спасибо вам сказав». Когда я читал Деррида, то меня интересовала попытка представить различие, а не тождество как *arche* самого мышления. То, что у Деррида событие не сообщает нам универсальные истины бытия, можно читать как логику *par excellence*, а не как отказ от логики, не как позднейшую «онтологическую эмансипацию». Если вчитаться, деконструкция Деррида есть не что иное, как онтологическая трансляция конвенциональной «критики источников». Например, что делал Деррида в своих лекциях? Деконструировал тот или иной —

обычно классический — текст, пользуясь одной лишь логикой и знанием языка. — И перед слушателем вместо себестождественного объекта разворачивался ансамбль различий, который до того ошибочно распознавался как тождество. Это было своего рода традиционное для историков и филологов источниковедение в приложении к нетрадиционным объектам. Почему это было важно в постсоветской России? Потому, что всё было пронизано противоречиями, всё было одновременно А и не-А, всё находилось в становлении. Предметы социологического познания сплошь и рядом оказывались не теми, чем их старался представить институционализированный дискурс. Наша группа проводила в середине 90-х небольшое эмпирическое исследование предпринимателей, затем издателей. Результаты были опубликованы во французских журналах, а в России я попытался проделать что-то в духе деконструкции с актуальным тогда для нашей социологии понятием «группа предпринимателей». Другой вопрос, насколько хорошо это получилось.

Другой мой пример — Ален Бадью. Чему меня учила его книга «L'Être et l'Événement» [Badiou, 1988]? На школьном уровне это можно сформулировать так: в «Критике чистого разума» философское знание определяется как знание, полученное разумом из понятий, а математическое знание — как знание, приобретаемое в результате конструирования понятий. Отсюда, сконструировать понятие означает раскрыть *arriori* интуицию, соответствующую математическому понятию. Что делает Бадью? Он проецирует достижения математической логики непосредственно на онтологию, при этом как бы опрокидывая кантовскую иерархию знания. Мне когда-то казалось, «что этот стих возможен» и в социологии, отсюда явился мой опыт о «политической топологии». Это был формальный эксперимент; у меня не нашлось социальных условий довести его до сколько-нибудь конвенциональной формы, но я хотя бы попытался.

Еще раз о методологических размышлениях Батыгина. А что из его сочинений можно было прочесть с пользой? То, что публиковалось в «Вестнике АН СССР» и «Человеке»? Я не готовился специально к настоящему интервью, полагая его частью устной истории и полагаясь лишь на свою память. Так вот, из публикаций Геннадия Семёновича после его ухода из «СОЦИС», помню «Советскую социологию на закате сталинской эры». Серию статей в том же «Вестнике...» и «Человеке», посвященных «советскому философскому сообществу» и «еврейскому вопросу» я благоразумно опустил: зачем? Были, как я слышал, еще публикации в тюменских и др. сборниках «про этику», «про аскезу». При желании, конечно, их можно было получить в Ленинке, но опять-таки, зачем? Я читал всё, что выходило в «Социологическом журнале», благо, он располагался на одном этаже с нашим сектором в ИС РАН, однако никакой «исследовательской программы», результатов методологических изысканий там не разглядел. За вычетом, разумеется, «Мифа

о „качественной социологии“» [Батыгин, Девятко, 1994] и статьи про И. Гофмана [Батыгин, 2003]. С «Мифом...» был солидарен, обсуждал его с коллегами, но статья не казалась программной; публикация о Гофмане как-то не отпечаталась в моей памяти. Да, была еще скорее обзорная работа про эффект Матфея в каком-то мрачном журнале, ксерокопию которой мне любезно предоставили. Хороший текст, как, впрочем, и всегда у Батыгина. Но о чем там было дискутировать? Проблема осталась там, где ее поставил Мертон в незабываемом 1968.

Методология, высокая теория. Как это воспринималось в моей перспективе? «Уже написан Вертер», постмодернизм «уже не торт», *Zeitgeist* стремительно меняется, уже идут бурления, оформившиеся позднее в *Centre international d'étude de la philosophie française contemporaine*, уже где-то рядом, скоро войдут К. Мейясу, Р. Брасье, Г. Харман, да что там, даже Й. Реев. Как вот-вот напишет Харман? Что-то вроде: «Двое в философии; я и Хайдеггер — книгой на рабочем столе». И это будет органично. А что в ИС РАН? «За тишиною непробудной, за разливающейся мглой» не видно блеска мысли чудной: Батыгин выкатывает персонажа на перфокартах, который командным фальцетом, перебивая, кричит мне: «А Фейерабенд? Фейерабенда забыли!» И происходящее воспринимается не как финал «Вишневого сада», а скорее как финал «Вия».

Однако не Фейерабенд, не постпозитивизм *per se* был неуместен, а то, что вместо работы с понятиями изрекались лозунги. Кстати, в ту же пору мне довелось общаться с А.Г. Здравомысловым, соавтором прославившей Ядова книги «Человек и его работа» [Здравомыслов, Ядов, Рожин, 1967], о чём в ИС РАН иногда забывали упоминать. Он тоже любил цитировать Фейерабенда. Однако и Фейерабенд, и Парсонс с Мертоном были органичны в течении его рассуждений, а не служили внешними авторитетами. Был ли Батыгин умным и многознающим профессионалом? Несомненно. Трудился ли он на ниве социологического просвещения? Само собою разумеется. Выдвинул ли он исследовательскую программу? Вряд ли. Точнее, может быть, он прорабатывал ее в личном общении, на семинарах со студентами/аспирантами, но в текстах она не читалась. Как мир исследований и размышлений об исследованиях Ядова и Батыгина пересекался с моим миром? Попробую ответить на этот вопрос в стиле Ядова, аллегорическим диалогом машинистов в кабине паровоза:

— Митяй, Анну Каренину знаешь?

— Нет, а что?

— Проехали...

Наконец, несмотря на и без того уже затянувшийся ответ, обращаюсь к последней части Вашего вопроса, относящейся к моей траектории. Осмелюсь заметить, что моей первой публикацией в «СОЦИС» была рецензия на книгу: Weidlich W., Haag G. *Concepts and Models of a Quantitative Sociology*. — Springer: Berlin, Heidelberg, New York, 1983.

Как я уже говорил ранее, Геннадий Семёнович активно помогал словом и делом всем, кто хотел что-нибудь сделать в социологии. Он дал мне действительно ценный совет: написать рецензию на книгу по моему выбору. Среди новых поступлений ИНИОН я наткнулся на книгу, которую мог без труда освоить — и после сокращения тёмных мест и длиннот рецензия вышла. Можно сказать, что мой путь в дивный мир социологической коммуникации начался с легкой руки Геннадия Семёновича и с обсуждения математических моделей.

После защиты достаточно абстрактной кандидатской диссертации, посвященной Марксу [Качанов, 1988], я распределился в отдел социальной структуры, главой которого был Фридрих Рафаилович Филиппов — пионер социологии образования в СССР и большой авторитет во всём, что относилось к социальной структуре. Поэтому с 1988 года мне пришлось обратиться к эмпирии, а философия осталась любимым занятием на досуге. Особо подчеркну, что Фридрих Рафаилович был замечательным руководителем науки и очень внимательным, я бы сказал, заботливым руководителем. В его отделе было аккумулировано множество данных, и я занялся их обработкой, пытаюсь реализовать в материале все, что мог найти в BMDP, SPSS и SAS. Это не вылилось в какие-либо публикации потому, что очень скоро начались организационные перемены и перестановки; я подал проект по тематике социологии науки, который состоялся при доброжелательной поддержке Фридриха Рафаиловича. Однако проекту также не суждено было закончиться естественным путём: в один прекрасный день в Институт социологии явился тогдашний зам. зав. Отделом науки ЦК КПСС В. Попов и привез и нового директора — В. А. Ядова, в обозе которого в Институт социологии несколько позже прибыл Батыгин, уходивший из Академии из-за карьерной коллизии в отраслевой Институт книги. Ядов исподволь начал сводить счеты со «старой гвардией», так или иначе связанной с М. Н. Руткевичем. Мой макрошеф, Ф. Р. Филиппов, как раз относился к этой категории, да и тема моей диссертации действовала на новую администрацию, как красная тряпка на быка: коммунисты с многолетним стажем спешили отряхнуть со своих ног прах марксистского прошлого. Долго ли, коротко ли, но оказалось, что социология науки «народу не нужна». — В первую свою инвестицию Ядов постоянно апеллировал к воображаемому им «человеку с лопатой», риторически вопрошая, будет ли ему полезно то или иное исследование, публикация, мероприятие. — На мой вопрос, а что потребно оператору лопаты, Ядов не задумываясь выпалил из главного калибра: «Социология политики»! Он был абсолютно прав: СССР клонился к закату, и изучение политики было более чем востребовано. Я оперативно сочинил проект вокруг модной в тот момент идентичности в стиле Гидденса, приземлив его на политику. Проект был немедленно отвергнут. Тогда я решил, так сказать, передать эстафету жене. Мы взяли исходный текст, изменив в нём

только титульную страницу — и идентичность воссияла, жену утвердили руководителем, а меня оставили при ней младшим научным сотрудником.

Надо же такому случиться, но как раз в эти дни меня пригласили на конференцию по математическим методам в политологии, которую с размахом проводило общество «Знание» в Политехническом музее. Оргкомитет возглавлял Георгий Александрович Сатаров, уже опубликовавший к тому времени несколько прорывных работ по анализу политических размежеваний в Конгрессе США и ВС РФ [Сатаров, Станкевич, 1983, 1988, 1989]. Мы с ним взаимодействовали как раз в рамках моего незавершенного проекта по социологии науки: Сатаров был ведущим специалистом в СССР в области методов многомерного статического анализа, а я использовал его алгоритмы для многомерного шкалирования в обработке тестов, которые мы проводили на ученых-физиках. Я выступил с сообщением на тему измерения политической идентичности, оно было благосклонно принято аудитории, и мне предложили заняться количественной политологией во вновь создаваемом центре ИНДЕМ. После описанного выше разворота с проектом по идентичности в Институте социологии я решил, что свет клином на АН СССР не сошелся — и покинул его стены. Иногда лучшее, что может произойти, приобретает болезненную или безобразную форму. В этом можно увидеть «мудрость любезной природы»: преодолеть болевой порог, перейти границу и, пройдя, уже не отступать. Иногда нет ничего лучше сильной грозы.

Начиная с какого-то момента исторического времени, события — хорошие или плохие — почти никак не зависят от того, что как он сам полагает, заслужил тот или иной учёный в области социальных наук. События просто случаются. Вы можете публиковаться в топовых журналах, а можете в чем-то вроде *Post-Communist Studies*, вас могут обильно цитировать, а могут вовсе не замечать — это мало что изменит. Вы можете позволить событиям происходить с вами, а можете бороться. Ни награды, ни наказания не последует. Социолог всегда от кого-то зависит. Я свободно пишу об этом, поскольку уже давно покинул социологию, и могу незаинтересованно наблюдать со стороны. Говорят, исключенные видят то, что скрыто от активных участников процесса. Кто знает.

Задумался над написанным. Несколько раз перечитывал. Спасибо большое, Юрий Львович, за текст и точное описание ситуации, как будто и нет прошедших лет, а всё, на что указываете в тексте, разворачивается здесь и сейчас. Размен строгой традиции на полипарадигмальность и одновременно сохранение исходного общего методологического основания, отсутствие программных текстов и выработка безупречного стиля изложения и прочее, и прочее. Вы пишете о Батыгине, а ощущение, что ставите диагноз нашим современникам.

Формулируете свой ответ в форме вопроса (о наличии значимых текстов, исследовательской программы), но это лишь усиливает определенность и однозначность отрицательного ответа.

В Ваших словах сейчас слышится одновременно и поразенчество, и весомый упрек к российской социологии, которая так и не справилась с элементарной гигиеной научной коммуникации, а именно налаживанием открытых для критики публичных площадок, фундированных не столько собственным или общественным интересом (читайте, интересом правящего класса), сколько традицией и последовательным развитием аргумента. Опорой на логику изложения, а не на спонтанные наборы понятий, заимствованные из различных языков описания (результат и следствие той самой полипарадигмальности).

Правильно ли я воспринимаю Ваши слова о прошлом, перенося их в настоящее, в текущее столетие? Стали ли Ваши статьи десятих годов итоговым вердиктом бессмысленности высказываний, обращенных к российским социологам, как научным сотрудникам, в реальности, не поддерживающим базовые принципы производства научного знания и вовсе не являющимся научными сотрудниками? Корректно ли я обобщаю критику батыгинской школы (позвольте мне такую вольность), как критику российской социологии в целом, *absque omni exceptione*? Социологии в России нет не потому, что нет профессионалов, недостаточна публикационная активность или мало полевых работ, а потому что нет даже интенции на производство и проверку гипотез, накопление и опровержение социального знания. Я правильно интерпретирую Ваше высказывание?

Наша беседа приобретает неожиданную динамику, словно вечер в общежитии студентов-философов: «Всё было вроде нормально. Сидели, пили чай... Побоище началось после слов: „Поскольку удержание-вместе как произведенное представляет собой стремящееся к недостижимому пределу разворачивание одновременности первопричины, области модальности свойственна бесконечность“».

На уровне строгости, допустимом в интервью, можно сказать, что социология есть то, что делают социологи. Чтобы понять, почему социологи делают именно это, а не что-то иное, надо принять во внимание как минимум три вещи: социальные траектории (социальное происхождение, образование, последовательность занимаемых постов, опыт участия в научных проектах и т. п.) людей, которых признают социологами, актуальное состояние профессионального корпуса и, наконец, статистические регулярности, присущие российской социологии как региону явлений социального мира. Отмечу, что структурные тенденции порой обладают непреодолимой властью. Иногда социологии остаётся только позволить каждому социологу, говоря словами Э. Дюркгейма, когда «мы не можем изменить

ход вещей, освободиться от них, думая о них, т.е. овладев ими при помощи нашей мысли».

Моей отправной точкой будет романтическое вопрошание: «...Wozu Dichter in dürftiger Zeit?» Зачем поэты в скудное время? Подобный вопрос во весь рост стоит и перед социологией: «Зачем социология?» Все социологи рано или поздно сталкиваются с этим прямым и, конечно же, в определённом отношении наивным вопросом. Одни отвечают, что социология ничему не служит, другие — что она усиливает эффективность техник доминирования, третьи — что она обладает эмансипирующим действием. Заостряя, редуцирую ответ к дихотомии: или гегемония идеологически сильных фантазий о социальном мире — или социальное познание, пытающееся (пусть и ни шатко, ни валко, ни на сторону) объективировать регулярности социальных явлений.

Общеизвестно, что любая наука — в зависимости от политического, экономического или иного интереса, который она представляет в тот или иной период, — обладает социальной значимостью. В свою очередь, социальная значимость оказывает влияние на научное ядро дисциплины. Если математика или физика на практике справляются с тяготами и лишениями социальной значимости, не смешивая до неразличимости фундаментальные и прикладные исследования, то в социологии ситуация несколько иная — здесь предмет исследования является зачастую и целью социальных\политических преобразований. Сконструировать из «социальной проблемы» объект социологического исследования — крайне сложная задача, которая может быть решена лишь при условии нетривиальной рефлексии над социальными целями социологических практик.

При этом неконсистентность социологического знания не только не приводит к единому знаменателю различные подходы, но, напротив, способствует их диверсификации, влекущей за собой значительную гетерогенность характерных исследовательских практик социологов. С другой стороны, сами свойства предмета исследования подразумевают, что за любым социологическим разоблачением скрытой властной стратегии или культурного произвола прячется перманентный политический интерес, т.е. иная властная стратегия или иной культурный произвол. Данное обстоятельство не способствует формированию ореола святости социологии у самих социологов. Наконец, переход от директивного идеологического управления времен Советского Союза к непрямым методам регулирования методами грантовой экономики, наглядно продемонстрировал, что чем мягче действуют внешние силы, тем большее влияние они оказывают на социологию.

Неавтономность социологии, сближение её с техникой, назначение социологии на роль средства в принятии решений или манипуляции социально-политическими процессами, становится тем

более важным, что всё это находит отклик среди многих и многих социологов, которые с превеликой радостью готовы выступить в роли «универсальных экспертов», «активистов», организаторов групп давления. Все это приводит к тому, что различные позиции внутри социологии становятся элементами политических стратегий.

Известно, что чем более разнятся способы доминирования и чем чаще они прибегают к процессам символизации, которые основываются на длительных и сложных опосредствованиях, тем чаще происходят конфликты между индивидуальными и коллективными агентами. Однако именно такого рода конфликты воспроизводят доминирование в различных областях социального пространства. Чем больше институты диверсифицируют свою власть, объективируя её в организованных системах, тем менее проявляется (тем менее заметно) социальное доминирование как таковое и тем оно устойчивее, будучи оформлено сложносочиненными и сложноподчиненными системами. Социология сейчас наталкивается на всё более значительные препятствия в объективации доминирования, в обнаружении доминирования. С другой стороны, применение социологии всё чаще приходит к тому, что лишь усиливает доминирование, делая его более рациональным. Возможно, это объясняет многочисленные конфликты, в которых, противопоставляя одних социологов другим, реализуется зависимость социальной науки. Зависимость, которая может дойти до — и об этом необходимо помнить — полного подчинения социальной науки требованиям заказчиков.

Отсюда, как говорил В. Беньямин в другие времена и относительно другого объекта, социологи должны сделать все возможное, чтобы «контролировать способы производства». Отсутствие этого контроля, без всякого сомнения, — одно из важнейших препятствий продвижению социологических исследований. Отсутствие «контроля способа производства» затрудняет как верификацию конструкций, основанных на социологических фактах, так и проверку последовательности концептуальных моделей. Это, в свою очередь, делает невозможным как применение логики или математики в социологии, так и вывод из социологических концепций утверждений, способных объяснять социальную действительность. Как раз контроль над воспроизводством профессионального корпуса социологов был одной из точек приложения усилий Батыгина.

Я проговорил достаточно элементарные положения относительно автономии социологии лишь для того, чтобы акцентировать позицию Геннадия Семёновича.

Итак, неавтономная социология заступает место социальной техники, технологии политического, социального и культурного доминирования. Но зачем нужна автономная социология? Что является сущностью истины социологии? Насколько я помню, Геннадий Семёнович либо выносил ответ на этот вопрос за скобки, либо сводил

его к тавтологии: наука есть наука. Данный ответ, несомненно, отрицает внутреннее противоречие, присущее социологии. Он подошел бы математике или космологии, но применительно к социологии скорее затушевывал сложности её бытования в качестве научной дисциплины в России.

Консерватизм Батыгина легко читается в упоминавшейся метафоре осаждённой крепости: осадное сидение отдаёт инициативу противной стороне. Если продолжить ряд военных ассоциаций, то, начиная с Фридриха II, выигрышной стратегией считалось наступление. Прусский полевой устав прямо указывал: непрерывно атакуйте, захватывайте инициативу. Скорее всего, оборонительная, консервативная позиция редуцирует сложность научного мышления, препятствует выработке реалистичных и конструктивных подходов. Она педалирует сохранение достигнутого, но что такого драгоценного уже накопила социология? Второй смысл, «второе дно» «осады» мне видится в том, что архетипом крепости для европейца выступает феодалный замок. Это, в свою очередь, имеет негативную коннотацию с жесткой иерархической системой. Как представляется, мало кто из наших современников захочет запереться в четырех стенах лишь для того, чтобы сеньор сохранил свой статус в иерархии.

Также не стоит забывать, что полипарадигмальность, восторжествовавшая в отечественной социологии, не в России возникла. Она в той или иной форме существовала и в той или иной мере была признана на Западе, а наше социологическое начало во многом играло роль колониальной администрации или душеприказчика глобальной, т.е. американизированной по своей сути социальной науки. Да, у нас есть некоторое количество совершенно невменяемых авторов-однодумов, одолеваемых фантазмами «тринитаризма», «торсионных полей», «матриц» и т.п. Помнится, один доктор социологических наук, воодушевленный экспериментами психологов с компьютерной томографией, призывал к созданию «магнитной социологии». Всегда найдутся чудачки и оригиналы. Но их мало, и не они определяют состояние российской социологии. Не их стоит опасаться. Однако предлагаемая Вами, уважаемый Дмитрий Михайлович, ментальная гигиена эффективно работает против них. Но этого мало.

В чем суть моего критического отношения к школе Батыгина? Как мне видится, Геннадий Семёнович не принимал во внимание Red Queen hypothesis: чтобы хотя бы остаться на том же месте, надо стремглав мчаться вперед. Мало заградительных и ограничительных мер. Хорошо бы показать новые образцы, новые методы работы. В наше время новая отрасль социологии, новый большой социолог открывают для научной работы новый вид данных, новый способ сбора и обработки социологической информации. Социолог-новатор — это не столько выдающийся читатель-эрудит-экзегет, сколько человек экстраординарных исследовательских практик. Приведу

в качестве примера П. Бурдьё. Он, разумеется, социолог. Но не стоит забывать, что Бурдьё учился в Lycée Louis-le-Grand и изучал философию в École Normale Supérieure, rue d'Ulm. Иными словами, получил фундаментальное философское образование, и если не щеголяет им, то это лишь вопрос стиля. Однако что сделало Бурдьё значимой социологической фигурой? Его работа социальным антропологом, что тогда, в эпоху абсолютного доминирования во Франции троицы Парсонс—Мертон—Лазарсфельд, было совершенной новацией. Мнится, что опыт качественных исследований, преумноженный позднее опытом работы со статистическими данными (во французском гомологе нашего Госкомстата) дал возможность Бурдьё совершить впоследствии то, что его прославило.

Этим примером я хочу указать, что социолога делает социологом не кружок аналитического чтения, а самостоятельное познавательное отношение к социальной действительности. Конечно, «много должны знать мужи-философы», но надо помнить и другое речение Гераклита: «Многознание уму не научает».

Диагноз современной ответственной социологии я не могу поставить, потому что давно вышел из ее среды. А что касается «пораженчества», то я интерпретирую это как здоровый реализм, ведь мне не под силу преодолеть социальные тенденции: «...Один на берегу вселенной \ Стою, стою и думаю — и вновь \ В Ничто уходят Слава и Любовь».

Пожалуй, самая частая присказка, которую я слышал от Геннадия Семеновича: «кому что, а курице просо». Круг Батыгина, его школа на годы уподобились этим самым курам, кругами расхаживающим по заросшему сорняками полю в поисках зерен. Эта метафора диаметрально, можно сказать антагонистична вашему описанию. Если позволите, то образ социолога-новатора у меня рисуется в качестве гуся, мощного, сильного, неукротимого в своей страсти пролетать на одном дыхании сотни километров. Не в одиночку, а косяком, с такими же сильными и целеустремленными новаторами. Кто-то из них полетел сразу, с исходных позиций, кто-то (и их большинство) присоединился по пути, увидев направление и поверив лидеру. Батыгин, безусловно, не вел за собой в теплые края, к морю, где в изобилии пища и красив пейзаж. Он озадачивал, мотивировал смотреть под ноги, а не вдаль. И возвращаясь к Вашей первой фразе о погасшей звезде, освещающей путь, так и остается неясным, как это возможно? Что за свет и с какого ракурса он на Вас направлен? Пусть бледный, пусть со спины, но как он дотягивается, как распознается? Ведь гусь курице не товарищ. Какие тут могут быть сомнения.

В Вашем словах о «гусях» и «курах» мне слышится смирение паче гордости. Sapere aude. Социология — не ристалище, социологи —

не атлеты. Все мы производим — или пытаемся производить — научные знания, и в этом плане мы все товарищи. Пусть Вы живете «на одном конце Янцзы, а я на другом», и нам не встретиться, мы всё же пьем из одной реки.

Если попытаться определить, «что за птица» был Геннадий Семёнович, то я бы указал на ворона. Но не на «питательного врана» пророка Илии, а на ворона Одина. Точнее, на Мунина, на «помнящего». На знамени Рагнара Лотброка был изображен ворон Одина, крылом указывающий направление похода. Вот так и Геннадий Семёнович указал мне на социологию науки. Его «память», т. е. его презентация истории социологии, была столь убедительной, что в 1989 году я пошел против течения, несшего в социологию политики, и подал заявку на «социологию открытия» — реконструкцию поисков К-мезонов. По разного рода причинам проект не был реализован. Однако на исходе нулевых мы с коллегой все-таки провели исследование на грани социологии науки и quantitative science studies. Последние десять лет я работаю именно в рамках quantitative science studies. Можно сказать, что пытаюсь двигаться в направлении, указанном Батыгиным.

Одновременно с ответами на вопросы данного интервью, я был занят тем, что готовил к печати статью про эффект Матфея. Как я уже говорил выше, об эффекте Матфея писал Геннадий Семёнович. Он не научил меня методу решения этой задачи, не объяснил, зачем ее надо решать. Но он указал на неё.

Как rozpoзнается свет звезды по имени Батыгин? «Много звёзд \ В безмолвии ночном \ Горит, блесит кругом луны \ На небе голубом.» Батыгин — одна из навигационных звезд, ориентируясь на положение которой я начинал самостоятельный поиск. Эта звезда не затмевает других, она не самая полезная, не самая яркая, но с ней связан исток моего движения, которое длится поныне.

Литература

1. *Батыгин, Г.С.* Континуум фреймов: социологическая теория Ирвинга Гофмана // И. Гофман. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта / Пер. с англ. М.: Изд-во Института социологии РАН, 2003. С. 7–57.
2. *Батыгин, Г.С.* Ремесло Пауля Лазарсфельда: введение в его научную биографию // Вестник Академии наук СССР. 1990. № 8. С. 94–108. [Второе издание: Батыгин, Г.С. Ремесло Пауля Лазарсфельда: введение в его научную биографию // Социологический журнал. 2003. № 2. С. 115–131]
3. *Батыгин, Г.С., Девятко, И.Ф.* Миф о «качественной социологии» // Социологический журнал. 1994. № 2. С. 28–42.

4. **Здравомыслов, А. Г., Ядов, В. А., Рожин, В. П.** Человек и его работа (социологическое исследование). М.: Изд-во «Мысль», 1967. [Здравомыслов, А. Г., Ядов, В. А. Человек и его работа в СССР и после. 2-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во «Аспект Пресс», 2003]
5. **Качанов, Ю. Л.** Содержание понятия «производство непосредственной жизни общества» в трудах К. Маркса: автореферат дис. канд. филос. н.: 09.00.01. М.: Ин-т социологических исследований, 1988.
6. **Пфанцагль, И.** Теория измерений / Пер. с англ. В. Б. Кузьмина. М.: Изд-во «Мир», 1976.
7. **Сатаров, Г. А., Станкевич, С. Б.** Голосования в конгрессе США: опыт многомерного анализа // Социологические исследования. 1983. № 1. С. 156–166.
8. **Сатаров, Г. А., Станкевич, С. Б.** Идеологические размежевания в конгрессе США // Социологические исследования. 1988. № 2. С. 111–122.
9. **Сатаров, Г. А., Станкевич, С. Б.** Изучение динамики расстановки сил в конгрессе США // Компьютер открывает Америку / Под ред. С. Б. Станкевича, Б. М. Штопова М.: Ин-т всеобщей истории академии наук СССР, 1989. С. 197–217.
10. **Суппес, П., Зинес, Дж.** Основы теории измерений // Психологические измерения / Пер с англ. Е. Ю. Артемьева; Под ред. Л. Д. Мешалкина. М.: Изд-во «Мысль», 1967.
11. **Badïou, A.** L'Être et l'Événement. Paris, 1988.